

Валерий
Брюсов



Повести и рассказы

Повести и рассказы // Советская Россия, Москва, 1983
FB2: "fb2design", 15 July 2012, version 2.1
FB2: Isais, 15 July 2012, version 2.1
UUID: 780AEE52-68B2-40DB-AD51-54D5C0A2F45B
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Валерий Яковлевич Брюсов

Семь земных соблазнов

Роман из будущей жизни «Семь земных соблазнов», над которым В. Я. Брюсов работал в начале XX века, не был закончен. Опубликованные фрагменты из первой части, «Богатство», описывают грядущий мегаполис, общественные установления и обычную жизнь граждан воображаемой цивилизации.

<http://ruslit.traumlibrary.net>

Содержание

#1	0005
От автора	0006
Из первой части Богатство	0009
Из главы первой	0009
Из главы второй	0022
Из главы четвертой	0032
Из главы пятой	0042
Из главы седьмой	0050
Из главы восьмой	0060
Из главы двенадцатой	0068
Комментарии	0079

Валерий Яковлевич Брюсов
Семь земных соблазнов

Роман из будущей жизни

От автора

Весьма трудно определить эпоху, в которую происходят описываемые мною события. Многие стороны жизни представляют, по-видимому, культуру, стоящую на более высокой ступени, нежели современная. Другие явления, напротив, указывают на низший уровень развития человечества. Кроме того, общая картина жизни той эпохи ни в каком случае не соответствует тем формам, в какие она должна отлиться, если будет продолжаться последовательное развитие тех начал, на которых зиждется наша «европейская» цивилизация. Приходится предположить, что между эпохой, изображенной в романе, и современной произошла какая-то страшная катастрофа, аналогичная той, которая уничтожила античную цивилизацию. Затем следовал период нового, многовекового развития, в результате которого человечество достигло вновь приблизительно того же уровня внешней культуры, на котором оно стоит в наши дни. Вновь, частью как следствие новых изобретений и открытий, частью под влиянием

сохранившихся сведений о славном прошлом, были найдены и возобновлены все те приспособления и ухищрения, которые составляют характерную особенность быта цивилизованных народов XX века. Вновь возникли многомиллионные города с домами-небоскребами, электрический свет вновь залил их улицы и их жилища, вновь пересекли всю землю рельсы железных дорог, вновь зашумели по всем путям автомобили, а в воздухе показались вновь дирижабли и аэропланы, страны соединились вновь телеграфами и телефонами, быстроходные стимеры[1] возобновили свои рейсы через океаны, и скоропечатные машины по-прежнему стали выбрасывать в миллионах экземпляров газетные листы. Согласно с этим опять заработали биржи и парламенты, напряженная умственная жизнь возродилась в университетах и в различных научных институтах, опять встали перед людьми все тягостные вопросы современности, в том числе вопрос об организации труда; и строение общества, сходное с тем, какое мы наблюдаем в наше время, привело к тем же решениям этого вопроса, какие

предлагаются и современными нам теоретиками... Впрочем, аналогию эту не должно проводить слишком далеко, так как мы видим, что во многих отношениях эпоха, изображенная в романе, резко отличается от нашей современности, что многое в ней организовано на иных началах и что к разрешению многих задач она подходит по иным путям, нежели мы. Во всяком случае мы встречаем в романе мир, стоящий на высокой ступени внешней культуры, но таящий в своем организме губительные язвы, грозящие самому его существованию.

В. Б.

Из первой части Богатство

Из главы первой

...**В** Столицу приехал я поздно вечером. После мрака и однообразия бесконечного тоннеля, по которому подземная железная дорога пробегает восьмую часть земной параллели, огни и движение главной станции, ее сутолка, гул и блеск меня ошеломили. Пятнадцать часов я просидел неподвижно, ни с кем не обменявшись ни единым словом, и, встав с дивана, первую минуту не мог ни действовать, ни мыслить: словно все пружины моего существа заржавели и окостенели.

Машинально, двигаясь за людьми, я поднялся, неся в одной руке свой скромный чемодан, на поверхность земли, вышел на подъезд Большого вокзала и сразу оказался в центре мировой сумятицы. Со ступеней широкой лестницы, ведущей к вокзалу, я видел перед собой громадную площадь, обставленную сорокоэтажными небоскребами; как реки в мо-

ре, в нее вливались ярко освещенные улицы; за громадами домов высились зубчатые и темные громады других стен; в высоте, словно оторванные от земли, сияли станции воздушных дорог. От светов бесчисленных фонарей, радиоактивных, электрических, газовых и иных, что смешивались и скрещивались, получалось странное, слепительное и переменчивое освещение. Движение толпы, экипажей, вагонов, разбег автомобилей и ровное стремление трамваев образовывали непрерывное мелькание, беспорядочную смену видений. Визг электрических дорог, хрипение и грохот моторов, стук лошадиных копыт, щелканье бичей, выкрики газетчиков и продавцов сливались с тысячеустым говором народа в один грозный, не лишенный гармонии, гул.

[2] И время от времени в темной вышине то вырастали огни плавно плывущего дирижабля, пыхтящего, как сказочный змей, своей могучей машиной, то загорались огненные точки кружащегося аэроплана и слышалось победное жужжание его пропеллера. И картина этой исступленной, этой ожесточенной жизни, это смешение звуков, образов и светов,

столь обычные для жителя Столицы, меня, бедного провинциала, привыкшего к затишью маленького городка, потрясли, опьянили, почти лишили разума, так что долго стоял я на площадке лестницы в каком-то полумистическом страхе.

Десятки комиссионеров, видя мое смущение, наперебой предлагали мне свои услуги, тянули меня за рукава, совали мне в руки объявления, но, вдруг решившись, я оттолкнул их от себя, сбежал с лестницы и уверенно зашагал вперед, как человек, который хорошо знает, куда он идет. Так я пересек Площадь Мира, прошел до конца всю Большую улицу, заглядывая с любопытством провинциала на пышные выставки магазинов, которые за зеркальными окнами расставляют целые музеи всего, что изобретает современная роскошь, потом свернул на какую-то боковую улицу, сделал наугад еще несколько поворотов и, наконец, оказался на набережной. Здесь я остановился, почувствовав усталость и голод, и несколько минут стоял, опершись на парапет, смотря на темную зыбь реки, на фонари бороздящих ее моторов, на силуэт

другого берега, сумрачный, строгий, с торжественным профилем Собора. Водная прохлада освежила мой смятенный ум, сравнительная тишина того места успокоила взволнованные чувства, и перспектива заречной части Столицы подсказала мне, что надо делать. Я понял, что нас — двое: город и я, один — громадный, страшный, всемогущий и беспощадный, другой — малый, неприютный, слабый, но решившийся на борьбу. «Будьте мудры; как змии»[3], — вспомнилось мне древнее изречение, и я подумал, что прежде всего должно мне смешаться с этим городом, раствориться в нем, стать «как все».

Я огляделся. Кругом было почти пустынно. Освещение было скудное; углы крылись во мраке. Изредка появлялись прохожие; они пробегали торопливо. Гул города доносился издалека, как шум дальнего моря. Простор над рекой давал видеть небо, но сквозь туман, стоявший над столицей, звезды были тусклы и малы. У меня было такое ощущение, словно в своем быстром и бесцельном беге я дошел до края мира, где расположились последние становья жизни. «Здесь мне и долж-

но поселиться», — тогда сказал я себе.

На одном из ближних домов, под слабо колеблемым керосиновым фонарем, я прочел вывеску: «Синяя Сирена. Комнаты для приезжих». Вид этой гостиницы был достаточно скромн, чтобы не смутить даже меня, при всей скудости моего кошелька. Я подошел к двери, позвонил. На этот звонок появился служитель с всклокоченной бородой, более пригодный для усмирения пьяных драк, чем для услуг постояльцам. Он сначала внимательно оглядел меня, мало слушая, что я его спрашиваю, потом по-видимому счел меня подходящим для своего учреждения, распахнул шире дверь и знаком указал мне, что я могу войти.

Скоро я оказался временным обладателем узенькой комнаты с засаленными обоями, с старомодным комодом, на котором под стеклянным колпаком красовались бронзовые, давно стоящие на одной цифре часы, и с широкой кроватью, рассчитанной на случайную чету, а не на усталого путешественника. Наскоро умывшись, я прошел в столовую, так как ничего не ел с раннего утра, и спросил се-

бе ужинать. В грязной комнате, изображавшей ресторан «Синей Сирены», среди посетителей, в которых, по их голосам и ухваткам, легко было признать мелких служащих и рабочих, я почувствовал себя свободно, как человек, попавший в общество ниже себя. Здесь впервые за весь день я освободился от той робости, какую внушала мне Столица, не боялся сделать неуместный жест или сказать неподходящее слово. И я был рад отдохнуть от того напряжения, в каком провел почти сутки, и в вагоне подземной дороги, среди незнакомых мне важных господ, и на улицах города, в пышной и самоуверенной столичной толпе. То было в первый раз в жизни, что я должен был распоряжаться в ресторане самостоятельно, но я постарался вести себя так, чтобы во мне нельзя было угадать подростка, привыкшего всюду появляться вместе с матерью.

Я уже кончал свой ужин, причем все время избегал чем бы то ни было вмешиваться в общее оживление, гудевшее кругом, когда вдруг к моему столу приблизился, немного пошатываясь, старик в потертом сюртуке, с большим фальшивым бриллиантом в галстук. Нахму-

рившись, я опустил глаза в чашку, чтобы выразить свое нежелание знакомиться, но старик, не смущаясь, заговорил со мной. Голос у него был сильный и неприятный.

— Я вижу, — сказал он, — что вы, молодой человек, приезжий. Позвольте предложить вам распить со мной бутылку пива.

— Благодарю вас, я не пью пива, — ответил я.

— Вы предпочитаете вино? Что ж, я угощу вас поллитром доброго вина! — возразил старик самоуверенно и спокойно сел за мой стол.

Я был еще столь неопытен во всем житейском, что совершенно не сумел защититься от такого посягательства на мою волю. Через минуту перед нами появилась бутылка с громким этикетом, стаканы были налиты, а старик, как бы не замечая, что я молчу недружелюбно, продолжал говорить непрерывно:

— Я заработал сейчас сто франков. Да-с! Иногда и я могу получать изрядные куши! Я — богат и вправе доставить себе удовольствие — угостить хорошего человека. Итак, позвольте представиться; старый Тобби, —

так зовут меня все приятели, а впрочем, и неприятели. Другого имени у меня нет, не осталось — было, но не осталось. Я сразу догадался, что вы в первый раз в столице, и мой долг, как старика, предостеречь вас против тех опасностей, какие ждут здесь новичка. У меня есть сын, в ваших годах, я не видал его лет десять, жена моя не считает меня того достойным, но я, позвольте сказать вам это, люблю своего сына, именно как отец, и мне приятно оказать услугу юноше его возраста. Я буду говорить с вами как с сыном, и я откровенно скажу вам, какие встретятся вам подводные камни, как сказал бы своему Гарри, потому что моего сына зовут Гарри, как, может быть, и вас, милый юноша...

Мне, наконец, удалось вставить несколько слов, и я сказал, насколько мог суше, что благодарю за доброе желание, но в советах не нуждаюсь.

— О молодость! — воскликнул старик. — Узнаю тебя! Закрыв глаза, ты веришь в свои силы, хватаешься за всякий рычаг и думаешь, что именно им перевернешь мир! Я сам думал так же, когда мне было двадцать лет, и

так же презирал брюзжанье стариков, так как уверен был, что знаю все лучше их! Я дорого заплатил за свою отвагу, как вы видите, потому что мог бы быть царем биржи и бросать министрам, как подачку, миллионы, а вместо этого я — маленький, темный делец, который хвастает, когда выработает сто франков! Ах, юноша, моя жизнь — это эпопея, возвышенная эпопея скорби и ужаса, и вы содрогнулись бы, если бы я приподнял пред вами краешек того покрывала, которым покрыто мое прошлое... Да, вы содрогнулись бы, а кое-кто, может быть, затрепетал бы по-другому, если бы я вздумал во всеуслышание рассказать все, что видел и что знаю. Потому что жизнь моя, как это ни покажется вам странным, связана крепкими нитями со многими из тех, кого называют сейчас сильными мира. Но вы не подумайте, что с вами говорит пустой хвастун или, еще хуже того, сумасшедший: нет! я только человек, которому Рок судил изведать все превратности судьбы и с вершины почестей пасть в грязь и позор — не нравственный позор, юноша, ибо честь моя не запятнана ни единой брызгой, но в унижение бедно-

сти и безвестности. Да, я не совсем то, чем кажусь с первого взгляда! Я ныне — старый Тоби, и ничего больше, но когда-то меня знали под другим именем, и звучало оно по-другому, и произносили люди его иначе.

Старик говорил долго, сопровождая восклицания жестами, пил и заставлял пить меня. Сначала я только неохотно подавал реплики, но понемногу заинтересовался странным обликом своего собеседника, стал подробнее отвечать на его вопросы и даже сам спрашивать. В конце концов, может быть не без влияния выпитого вина, я уже не мог не рассказать, кто я и зачем приехал в столицу. Когда я назвал имя своего дяди, старик с немного преувеличенным изумлением привскочил на стуле.

— Вы шутите, дитя мое, — пролепетал он.

Мне доставило наивное удовольствие это его удивление, и я сказал не без самодовольства:

— Нисколько не шучу. Моя покойная мать была родной сестрой Питера Варстрема. С братом она была в ссоре, и они не видались больше двадцати лет. Но, умирая, она потре-

бовала, чтобы я поехал в Столицу к дяде и попросил его меня устроить. Она написала к брату письмо, и это письмо я везу с собой.

— Но, дитя мое! — с какой-то нежностью воскликнул старик. — Вы знаете, что такое Питер Варстрем?

— Знаю: человек очень богатый, владелец одного из величайших в мире банков.

— Очень богатый! Он говорит: очень богатый! Питер Варстрем миллиардер и даже архимиллиардер! Он может купить всю Европу, и у него останется достаточно денег, чтобы построить себе дворец на вершине Монблана и содержать двор в тысячу человек! Он может тратить по полмиллиона ежедневно и будет проживать только свои доходы! Питер Варстрем — король мира, потому что правительства всех стран — его должники и готовы повиноваться его малейшему жесту. Если он скажет сегодня: хочу, чтобы Азия пошла войной на Европу, — завтра все железные дороги с Востока на Запад будут заполнены желтокожими, и через месяц во всех столицах Европы будут править манджурские губернаторы! И этого человека вы называете своим дядей! Да

нет! Вы надо мной смеетесь или заблуждаетесь сами. Не может племянник Питера Варстрема сидеть в трактире «Синей Сирены» и пить вино, которым его угощает старый Тобби!

— Повторяю вам, — возразил я уже строго, — что здесь нет ни насмешки, ни ошибки. Я точно племянник того человека, которого вы величаете королем мира. Но действительно, в то время, как он властвовал над правительствами всех стран и замышлял дворцы на вершине Монблана, его сестра, а моя мать, бедствовала в маленьком городке на Дунае, зарабатывала гроши стенографией и умерла если не с голоду, то все же от разных лишений, расстроивших ее здоровье. Ведь сказали же вы о себе: я не совсем то, чем кажусь с первого взгляда. Так и я: я тоже не совсем то, чем сначала вам показался.

Тогда старый Тобби торжественно встал, поднял стакан с остатками вина и произнес очень серьезно:

— Если так, молодой человек, не окажитесь неблагодарным. Вспомните, когда будете в славе и в силе, что старый, пьяный и гряз-

ный старик однажды, не зная, кто вы такой, первый подошел к вам, угостил вас вином и от души предложил вам свою помощь. Пью за ваш успех, господин Варстрем, за ваше примирение с дядей, за ваше будущее превращение, пью за то, чтобы вы скорее приняли тот образ, какой вам подходит! Будьте здоровы, помните мое имя: старый Тобби, а я сумею найти вас.

Старик протянул мне руку. У меня не было никаких причин отказать ему в своей. Мы расстались, как хорошие друзья. И через десять минут я уже был в своей комнате, тщательно запер дверь, наскоро сбросил платье и кинулся в постель с несвежим бельем, измученный, как человек, который пережил за один день больше, чем за всю предшествующую жизнь.

Из главы второй

Кажется, все было сделано, чтобы здание Международного банка производило впечатление наиболее сильное.

Дом был поставлен на широкой площади, где перекрещивались линии разных трамваев. Десятиэтажный, он, как гигантская декорация, служил фоном для непрерывных сцен, которые разыгрывала на площади жизнь Столицы. Приливали и отливали волны народа, как громадные ящеры стремительно сползали и убегали прочь вагоны, грузовые автомобили порой наводняли все свободное место, но пестрая, из разноцветного камня, достаточно безвкусная стена продолжала закрывать даль. Эти десять рядов окон, эти нестройные фальшивые колонны, этот неуместно прихотливый изгиб крыши с мозаичной картиной под ним стояли здесь, как судьба. Здание подавляло собой все кругом, а только гигантские трубы городской электрической станции, торжествуя над его вышиной, выдвигались сзади, уходя в сырой туман неба.

По мере того, как я приближался по улицам к банку, мое волнение все усиливалось. Сердце начало биться так, что я едва мог дышать. Мне показалось, что, войдя в дверь, я не в силах буду произнести ни слова. Я стыдился этого волнения, но не мог его преодолеть. Я начал медленно ходить взад и вперед по тротуару, чтобы дать себе успокоиться.

Наконец, я решился переступить порог. Из вестибюля вело три громадных стеклянных двери. Я выбрал ту из них, на которой было написано «Канцелярия». В несообразно большой комнате, которая по размерам могла бы служить тронной залой в ассирийском дворце, за десятками столов сидело несколько десятков служащих, не обративших на мое появление никакого внимания. После долгого колебания я заговорил с ближайшим:

— Извините, пожалуйста, как мне передать письмо Питеру Варстрему?

Теперь я понимаю всю несообразность такого вопроса, но тогда, по своей наивности, искренно воображал, что дядя может немедленно принять меня.

Тот, кому я задал свой вопрос, поднял на

меня глаза, несколько мгновений смотрел на меня, вероятно, с насмешкой или с презрением, потом бросил коротко:

— В отделение прошений.

— Но я вовсе не с прошением...

— Извините, мне некогда.

С этого начались мои томительные попытки вручить моему дяде письмо моей матери. То, что у нас в городе казалось просто и естественно, оказалось в Столице делом сложным и затруднительным. Я переходил из одной канцелярии в другую, из одного этажа в другой, ждал подолгу в приемных, выслушивал отказы и оскорбительные ответы, и в конце концов мне везде говорили одно и то же: я должен передать свое письмо в отделение прошений, где его прочтет особый секретарь, который и решит, должно ли его представить дяде.

— Но это письмо частное, личное...

— У г. Варстрема нет личной переписки.

— Это письмо его сестры, его родной сестры!

— Секретарь это рассмотрит.

— Мне надо лично видеть г. Варстрема.

— Г. директор не принимает никого.

Я испытывал негодование при одной мысли, что письмо моей матери, в котором она, ради своего сына, ради меня, может быть, унижается перед братом, что это дорогое, священное для меня письмо будут читать равнодушные и наглые глаза какого-то секретаря. Я попросил себе бумаги и написал дяде другое письмо, уже от себя лично, в котором объяснил, кто я и почему добиваюсь его видеть. Это письмо я и передал в «отделение прошений».

— За ответом зайдите дня через четыре...

Из Международного банка я вышел с таким ощущением, словно меня только что подвергли унижительному наказанию. Как часто, в следующие месяцы, пришлось мне вновь сознавать в душе то же чувство, выходя из гигантских стеклянных дверей этого учреждения! И до сих пор это торжественное здание, долгие годы попиравшее надменно центр Столицы, вспоминается мне, как пышный застенок, где на тысячи разнообразных ладов нравственно пытали и всячески оскорбляли тех несчастливцев, что попадали в лапы миллионнорукого спрута, голову которого имено-

вали Питер Варстрем.

Когда мое «прошение» поступило, наконец, по назначению и я получил на него официальную квитанцию, было уже далеко за полдень. Но мне не хотелось возвращаться в «Синюю Сирену», уже по одному тому, что мне было бы неприятно давать какие-нибудь объяснения старому Тобби. Я пошел бесцельно бродить по улицам, присматриваясь к движению Столицы, где для меня, провинциала, на каждом повороте открывались новые неожиданности и новые приманки. Я чувствовал себя как бы в необъятном музее, с той только разницей, что то был музей — живой, не восковые слепки с чуждой, неизвестной жизни, но самая эта жизнь, увлекательная по своей непосредственности и непринужденности.

Так смотрел я на дам, пролетавших мимо меня в колясках и автомобилях, и эти дамы, одетые в исхищренные костюмы, с лицами, выхоленными в разных «Институтах красоты», казались мне недоступными существами иного мира, и я внутренне смеялся над собой, воображая то смущение, какое испытал бы,

если бы мне пришлось заговорить с одной из них. Я останавливался перед зеркальными окнами магазинов, изучая эталажи[4] ювелиров, парфюмеров, модных мастерских, гастрономической и винной торговли, кондитерских, табачных; всюду виднелись сотни вещей, самые назначения которых мне были неизвестны, которые соблазняли мое любопытство и дразнили мое воображение. Я входил в пассажи и универсальные магазины, чтобы насладиться скорбным и жгучим чувством своего страшного одиночества в бесчисленной толпе, нарядной, суетливой, вечно сменявшейся и с поразительным бесстрашием не обращавшей на меня никакого внимания. Я упивался зрелищем самого каменного остова этого великого города, уничтожившего землю и небо и создавшего вместо них свой мир из кирпича, гранита, мрамора, стекла, стали, железа, который казался мне несокрушимым, назначенным жить сотни тысячелетий, стать сверстником человечества, как становятся сверстниками два старика, хотя бы их разделяло двадцать или тридцать лет жизни.

Уже вечерело, когда я вошел в один из музеев, около которого случайно оказался. То был мало посещаемый, почитаемый «скучным», «Социологический музей». На стенах висели диаграммы, наглядно показывающие накопление богатства в руках немногих, сравнительные бюджеты рабочих разных стран, распределение населения по роду труда и т. под. В витринах были выставлены образцы домиков для рабочих, выстроенных разными фабрикантами-благотворителями, модели машин и орудий производства, изображения обычной обстановки жизни разных классов общества, впрочем исключительно неимущих. Было там еще несколько портретов, которые должны были увековечить черты знаменитых «друзей человечества», боровшихся с вековой «социальной неправдой»: лица умные, благородные, но как-то странно чужие, не сроднившиеся с нашим воображением так, как лица иных поэтов, путешественников или полководцев.

Я был в таком настроении, что на меня этот музей произвел впечатление громадное. После того как я только что рассматривал го-

родские дворцы столичных богачей, любовался на одетых в шелк и золото красавиц, гадал о назначении тысячи предметов утонченной роскоши — это воспроизведение подробностей рабочей жизни было контрастом разительным. Я вдруг представил себе миллионы людей, которые, поколение за поколением, роются в шахтах, льют расплавленный чугун, присматривают за ткацкими и прядильными машинами, шлифуют алмазы, набирают книги, работают в сотнях других производств, все это лишь затем, чтобы сколько-то тысяч счастливых, по прихоти рока родившихся в иных условиях, могли всячески услаждать свое тело и свой дух. И как ни банальны были эти соображения, как ни обычны были все эти противоположения, даже для меня, юноши и провинциала, но вдруг я понял всю их силу, весь их смысл, всю их неопровержимую правду. Великая утонченность столичной жизни, радость бытия для взысканных судьбой — и великое рабство всего остального населения земли, страдания и унижения для паинов судьбы: почему?

Мне вспомнились все споры, которые ве-

лись на эти темы у нас, в старших классах коллежа. Но в ту минуту все доводы защитников современного строя мне показались бессильными и ничтожными. Пусть там, на вершинах, куются культурные ценности, пусть досуг, дарованный «избранным», позволяет им двигать вперед науку и искусство, пусть эти «избранные» являются истинными представителями планеты земли во вселенском состязании миров — но разве же это оправдывает телесную и духовную гибель миллионов других? Разве, по древнему изречению, «цель оправдывает средства»? И не должно ли узнать у этих погибающих, хотят ли они служить тем черноземом, на котором вырастают красивые цветы земной культуры? И если спросили бы меня тогда, что же делать, как все это поправить, неужели лучше рисковать гибелью этой самой культуры, я бы ответил: что делают, когда видят несправедливость? когда на ваших глазах взрослый, пользуясь своей силой, истязает ребенка? — не спрашивают, но, подчиняясь голосу чувства, спешат помочь слабому. Пусть будет, что будет, но этот голос чувства кричит нам, что соверша-

ется несправедливость. Пусть же рушится великая Столица, пусть обращаются в прах каменно-стальные дворцы, пусть гибнут библиотеки и музеи, исчезают памятники искусства, горят кострами книги ученых и поэтов, пусть даже совершается тысяча новых несправедливостей, только бы освободиться от этой, которая, как чудовищный кошмар, давит мир тысячелетие за тысячелетием![5]

...Звон, означающий, что музей запирается, заставил меня вновь выйти на улицу. Уже загорались фонари, начиналось новое, характерно вечернее движение, везде мелькали крикливо одетые, намеренно ярко подкрашенные женщины, в свете электричества город казался преображенным, потерял свою суровость и приобрел что-то вкрадчиво-соблазнительное. Каждая улица казалась маленьким миром, и не было впечатления одного громадного, безмерного чудовища, уместившего в своей утробе миллионы живых существ.

У двери одного из домов, в каком-то переулке, меня окликнула женщина, стоявшая там без шляпки, в маскарадном костюме.

— Молодой человек, зайдите к нам выпить вина!

Я догадался, что здесь публичный дом. Любопытство, желание увидеть все облики города, заставило меня войти. Женщина весело побежала по лестнице, показывая мне дорогу; я, не без колебания, следовал за ней...

Из главы четвертой

Пока подъемная машина подымалась наверх, я употреблял все усилия, чтобы преодолеть смущение, и рукой сжимал сердце, которое продолжало колотиться в груди. Я чувствовал, что бледен, как смертельно раненный. Нарочно, чтобы только приучить свой голос произносить слова, я спросил что-то служителя, управлявшего машиной.

В самом верхнем этаже мы остановились. Здесь мы были отрезаны от мира. Сюда не было никаких лестниц. Проникнуть в этот этаж можно было только по подъемнику. Если бы кто-нибудь покусился на жизнь «короля мира», преступник оказался бы в западне: ему невозможно было бы бежать с десятого этажа.

Небольшой коридор привел нас в приемную. Здесь меня опять попросили подождать. На стенах висели совершенно не подходящие к этому месту наивные литографии, изображавшие какие-то мирные сельские виды. Я стал рассматривать изображение какого-то лесочка, когда растворилась дверь приемной и из нее вышел мой предшественник по аудиенции. Это был пожилой господин, — по-видимому, делец; лицо его было багровым — он даже не скрывал своего крайнего волнения. Мне показалось, что он шатается. В ту же минуту кто-то, — я не успел рассмотреть кто. — сказал мне:

— Пожалуйста, господин директор ждет вас.
И я вошел в заветную комнату.

Небольшой, удлиненный кабинет, просто обставленный. Несколько телефонов на стене. Шкафы с книгами и бумагами. Мраморный бюст Наполеона. В глубине, за длинным столом, трое секретарей; около одного из них телеграфный аппарат. На первом месте, посреди комнаты, другой массивный письменный стол, почти пустой, на котором отчетливо выделяется мраморная доска с целой си-

стемой кнопок от электрических звонков; за этим столом — не старый еще человек, с окладистой бородкой, с лицом ничем не замечательным: мой дядя, главный директор и владелец Международного банка, Питер Варстрем.

Я стою неподвижно, приблизившись к столу. Я не знаю, что должен сделать: броситься в объятия дяди? ждать, что он мне протянет руку? поклониться почтительно? или даже, как древнему рабу пред ликом царя, пасть ниц?

— У вас есть ко мне письмо?

Он не добавил: «от моей сестры». Голос у дяди спокойный, уверенный. Так говорят люди, которые знают, что каждое их слово будет повторено, станет историческим.

— Да, моя мать, умирая, потребовала от меня, чтобы я передал вам вот это письмо.

Я с легким поклоном, заботясь об том, чтобы не быть подобострастным, подаю конверт. Дядя берет его из моих рук, вскрывает, читает. Лицо его как маска: на нем нет ни малейшего выражения, ни горя, ни любопытства, ни даже снисходительной любезности.

Письмо прочтено. Дядя положил его на стол и смотрит прямо на меня. Я не опускаю глаз. Длится жестокое молчание. Нервно застучал телеграф.

Наконец, дядя начинает говорить:

— Сестра меня просит принять участие в вашей судьбе и поручает мне вас. Она хочет, чтобы я был вашим опекуном. Когда я расстался с сестрой, двадцать пять лет назад, мы оба были богаты одинаково, вернее, одинаково бедны. Я избрал одни принципы жизни, она — другие. Я знаю, что она меня осуждала. Теперь, посылая вас ко мне, она тем самым сознается, что была не права. Но понимала ли она и понимаете ли вы, что вы можете искать у меня? Вы, может быть, представляли себе мою жизнь как вечный праздник. Думали, что я провожу дни в постоянных удовольствиях. И вы ждали, может быть, что я уделю вам как родственнику хоть малую долю этих радостей. Все, кто меня знают, вам скажут, что моя жизнь не такова. Мое глубокое убеждение, что в мире есть лишь одна сила — работа. Достичь чего-либо можно только работой. Удача, случай, счастье — ничто: все дает

нам лишь труд. Этим принципам должны следовать все, кто рассчитывает на мою поддержку, и я первый всегда им верен. В течение двадцати пяти лет каждое утро, в шесть часов, я уже за этим столом. Я завтракаю здесь же и выхожу отсюда, чтобы пообедать, на один час. Очень часто я остаюсь в этой комнате до поздней ночи. Я признаю своей честью подавать пример служащим, и им известно, что я работаю не меньше, чем они, но больше. Им я оставляю свободными праздники, меня же некому освободить, и редко мне не приходится здесь же сидеть и в праздничные дни. Так я работал, когда создавал свое дело. Теперь, когда оно создано, я считаю, что обязан работать вдвое. Мое дело уже переросло меня самого, теперь не я им владею, но оно властвует мною. Мой священный долг — дать ему вполне развить все скрытые в нем возможности. В наши дни не правительства отдельных государств делают историю, но банкиры. На мне лежит ответственность за ход мировых событий, и это обязывает. Моему делу я отдаю все свое время, все свои силы и охотно отдам жизнь. Вы пришли просить у

меня помощи: я могу дать вам возможность участвовать в моей работе. Подумайте серьезно, этого ли вы искали.

— Вот здесь, — продолжал дядя, — ваши бумаги: я вижу из них, что вы знаете. Здесь также отзыв директора вашего лица: я попросил доставить мне этот отзыв по телеграфу. Директор сообщает, что у вас характер мечтательный. Это не порок в двадцать лет, но с годами человек рассудительный должен от этого избавиться. Я тоже был мечтателем. Но вы, если хотите моей поддержки, должны усвоить себе те начала, о которых сейчас я вам говорил. Вы должны при этом помнить, что нет труда неблагородного и что человек имеет право лишь на то, что заработал сам. Итак, если вы готовы трудиться, я отдам приказание, чтобы вас приняли в наш дом. Вы своевременно получите извещение, когда начинать службу. И какова бы ни была ваша должность, я надеюсь, вы будете исполнять ее добросовестно. В живом деле все, и великое и малое, служит единой цели. Машина может работать правильно лишь в том случае, если в ней исправны даже самые малень-

кие колесики. Работая честно, вы можете быть уверены, что, в память сестры, я слежу за вашей судьбой. У меня не будет времени лично видетсья с вами, но вы не должны будете думать, что я вас забыл. Мне надо испытать ваш характер, вашу волю и ваши способности, и я позову вас, может быть, в тот час, когда вы этого всего менее будете ожидать. Разумеется, я не имею права удерживать вас у себя насильно. Вы свободны оставить мой дом, когда вам будет угодно. Но знайте, что, если вы покинете мою службу, я буду считать, что все наши отношения кончены. После этого я попрошу вас не обращаться ко мне ни с какими просьбами: они останутся без ответа. Вот все, что я должен был вам сказать. Прощайте. Надеюсь, что мне придется быть довольным своим сегодняшним поступком. И мое последнее слово к вам: трудитесь!

Дядя, говоря заключительную фразу, чуть-чуть наклонил голову, давая знак, что аудиенция окончена. Я искал слов хотя бы простой вежливой благодарности, но не мог найти ни одного выражения: с такой холодной отчужденностью была произнесена вся речь.

Было такое ощущение, что я и дядя — не два живых человека, правда, разделенных бесконечным числом ступеней социальной лестницы, но два мертвых олицетворения: владыки мира и случайной единицы из миллионов живущих. С большим трудом я заставил себя пробормотать:

— Поверьте, сэръ, что я употреблю все усилия, чтобы оправдать ваше доверие и быть достойным вашего внимания...

Мне сейчас же стало стыдно этих бессодержательных слов, но дядя, кажется, и не расслышал их. Один из секретарей уже был около меня, чтобы показать мне дорогу к подъезнику. И, выходя, я расслышал, как дядя, обращаясь к другому секретарю, сказал ему:

— Этот разговор вы можете опубликовать...

На другой день, в одной из самых больших утренних газет, я прочел такую заметку:

«Мы счастливы, что имеем возможность привести небольшую речь, произнесенную по одному частному поводу нашим известным финансовым деятелем, м-ром Питером Варстремом.»

Принимая на службу в свой банк одного дальнего родственника, он обратился к нему с такими, глубоко замечательными словами, характеризующими в то же время изумительную, неутомимую деятельность и возвышенные, стойкие принципы знаменитого и высокочтимого учредителя и владельца Международного банка».

Далее следовала, почти целиком, та речь, которую дядя произнес передо мной. Очевидно, он приготовил ее заранее. Впрочем, некоторые интимные подробности, все, что относилось лично ко мне, было пропущено.

После воспроизведения речи в газете стояло: «Пользуемся случаем привести несколько цифр, знакомящих с деятельностью Международного банка». Из длинного перечня, следовавшего далее, можно было узнать, что бюджет банка равнялся бюджету первостепенного государства, что банк имеет несколько сот отделений в различных городах всех частей света, что в одном центральном отделении, находящемся в Столице, в банке занято несколько тысяч человек, и т. д. Прибавлено было и несколько анекдотических цифр,

вроде того, что стоимость чернил, истребляемых в банке ежегодно, превышает стоимость броненосца, что бумагой, которую изводит банк каждый год, можно было бы обернуть земной шар, что только для обрезания купонов у процентных бумаг банк имеет особый штат из сотни служащих, работающих безостановочно, с утра до вечера, и т. под.

Я должен признаться, что эта рекламная статейка заставила меня задуматься. Для меня начало яснее вырисовываться значение того учреждения, к которому я уже принадлежал. И образ моего дяди, к которому я привык, по рассказам матери: относиться свысока, стал принимать в моем воображении размеры титанические. Мне уже не показалось странным, что в его кабинете стоял мраморный бюст великого корсиканца.

Из главы пятой

Когда первый порыв негодования несколько улегся, я, вновь получил способность рассуждать. Я по-прежнему чувствовал себя оскорбленным, униженным до последней степени, но уже мог найти некоторые успокоительные доводы.

Не было никакого сомнения, что та должность, какую мне поручили, была ниже меня. Мое образование нельзя было назвать блистательным, но все же я окончил курс коллежа и слушал лекции в университете. И дяде это было известно. Я ничем не проявил своих способностей и дарований, но ведь естественно было допустить, что я способен на большее, чем быть механическим счетчиком, заменять робою машину, так как порученную мне работу бесспорно щг, бы выполнять искусно приспособленный аппарат. Наконец, в самых условиях моей работы было крайнее унижение, нечто такое, с чем не могла мириться примитивная человеческая гордость, что оскорбляло самое элементарное чувство собственного достоинства. В этих условиях

было основное недоверие к моей честности, ими я прямо определялся как мошенник, как человек, способный на воровство, которого надо всеми средствами лишить возможности проявить свою злую волю. Одним словом — условия моей работы были позорными.

С другой стороны, я говорил себе, что это назначение могло быть простым испытанием. Я напоминал себе заключительные фразы из речи дяди. Он ими как будто уже намекал на ожидавшее меня. «Вы должны помнить, что нет труда неблагородного», — говорил он. «Я должен испытать ваш характер», — добавлял он. Зная немного Питера Варстрема, легко было предположить, что он нарочно приказал мне дать сначала самую унижительную должность, чтобы убедиться, что я готов по-виноваться ему слепо. «Вы можете быть уверены, что я слежу за вашей судьбой», — сказал он. «Я позову вас, может быть, в тот час, когда вы этого всего менее будете ожидать». В этих словах заключалась надежда. Неужели же у меня не останется силы воли, чтобы заставить себя перенести посланное мне унижение ради тех преимуществ, которые могут

меня ждать в будущем?

И все же, после всех этих доводов, я не мог преодолеть чувства беспредельного, мучительного стыда при одном воспоминании о первом дне моей службы. При мысли, что то же самое должно возобновиться завтра, и послезавтра, и будет повторяться каждый день, неизвестно сколько времени, я испытывал желание все бросить, отказаться от всякой поддержки могущественного родственника, терпеть нужду, самые крайние лишения, даже погибнуть, только бы не идти еще раз на поругание. Внутренний голос говорил мне, что я не имею права, не смею унижать себя ни ради каких благ. Есть средства, которые не оправдываются никакой целью.

Эту первую ночь после поступления на службу в Международный банк я провел, как преступник, приговоренный к смертной казни. Я не мог спать, я мучился до утра размышлениями, как мне должно поступить. Много раз я давал себе клятву, что на другой же день пошлю дяде свой решительный отказ. Но потом доводы благоразумия брали верх, и я отрекался вновь от своей клятвы.

Моим последним соображением было то, что к дяде меня послала мать. Она взяла с меня слово, что я буду просить его устроить мою жизнь. Я это обещал матери, и было бы нечестно не исполнить своего обещания, по крайней мере не попытаться его исполнить. В конце концов я порешил на том, что буду подчиняться воле дяди в течение шести недель. Если должность, которую он мне назначил, только испытание, — он будет иметь время за полтора месяца убедиться и в моих способностях и в моей готовности ему повиноваться. В продолжение шести недель я постараюсь исполнять свои обязанности, сколько могу добросовестно. Если же по прошествии этого срока ничего в моей судьбе не изменится, мне останется лишь одно: покинуть дом Питера Варстрема и пролагать себе путь в жизни собственными силами.

С таким решением я отправился на следующий день в банк, чтобы вновь приняться за свое дело счетчика. В тот же день я должен был переехать жить в особый отель, построенный Питером Варстремом специально для служащих его банка.

Начались дни моей службы.

Каждое утро, к 7 часам я, среди своих сотоварищей, уже был в «сборной» — маленькой комнатке, где мы перед работой уныло шутили и курили утренние папиросы.

По звонку мы раздевались, вешая свое платье в особые нумерованные шкапы с запором. Как я говорил, работать мы должны были совершенно обнаженными. В прежних государствах так работали преступники на монетных дворах.

Наша рабочая комната была огромным залом с широкими окнами, завешанными палевыми гардинами. У каждого из нас был свой мраморный стол, за которым он и проводил весь день. Мой стол был за № 26, и сам я был уже не человеком, не лицом, но таким же № 26.

Подъемные машины непрерывно поднимали из нижнего этажа запечатанные ящики с монетами. Распорядитель высыпал их на стол. Наше дело было просматривать эти монеты, откладывать негодные или неполновесные, сортировать и считать хорошие и закатывать их в бумагу столбиками, на опреде-

ленную сумму. На грифельной доске мы отмечали сумму сосчитанных монет, и редкий день итог каждого из нас не превышал миллиона франков...

От постоянного блеска золота утомлялись глаза; от однообразных движений изнемогали руки; ум тупел от машинального складывания цифр. Ненавистная работа казалась еще ненавистней из-за того, что орудием ее были деньги, громадные суммы денег, безмерные богатства, проливавшиеся сквозь наши пальцы, чтобы дать нам право в конце месяца на ничтожные гроши вознаграждения. Мы были умирающие от жажды, которые должны были ежедневно пропускать через шлюзы моря, океаны прекрасной, свежей воды, пить которую будут другие!

Работа длилась девять часов. Между полднем и двумя часами дня у нас был отдых для обеда, который подавался нам в особой столовой. Мои товарищи умели веселиться за эти часы, смеялись, рассказывали анекдоты, но мне было стыдно смотреть в глаза тем, кто только что были свидетелями моего унижения. Я обычно молчал, уклоняясь от всех раз-

говоров, и не намекал, конечно, и полусловом на свое родство с нашим «директором». Среди товарищей я, с самых первых дней, прослыл нелюдимом, мизантропом. Кажется, меня не любили...

В шесть часов вновь звонил колокол: трудовой день был кончен. Но мы не освобождались из-под смертельных чар Спрута-банка. «Король» Варстрем не хотел отказаться от власти над своими подданными и после того, как они выполнили принятые на себя обязанности. Он желал купить не только нашу работу, но и нашу жизнь.

Под предлогом дать своим служащим дешевые и удобные квартиры Варстрем построил особый отель, в котором должны были жить все служащие в его банке. За цену, действительно очень недорогую, они получали там помещение и постель [6]. Женатым и занимающим более значительные должности предоставлялись целые квартиры, одиноким и мелким служащим — отдельные комнаты. Отель был обставлен со всеми удобствами, даже не без роскоши; в нем были ванны и курительные комнаты, своя прачечная, своя па-

рикмахерская, своя аптека; при отеле состояли особый врач и юрист для консультации; были в отеле библиотека и читальня, зал для разных видов спорта, гимнастики и фехтования, сцена для любительских спектаклей, гостиные для больших приемов. Но жизнь в отеле была обставлена длинным рядом стеснительных правил, предусматривавших чуть ли не каждый наш шаг. Мы должны были возвращаться домой к определенному часу или брать особые отпуска, мы не имели права пить вино в своей комнате, нам было запрещено принимать у себя гостей позже полночи, в случае болезни мы были обязаны обращаться к нашему врачу и т. д. Все это обращало отель в комфортабельную тюрьму, и, конечно, многие, если не все, предпочли бы пышной клетке самую жалкую обстановку, только бы чувствовать себя «у себя», на воле, в своем доме, где можешь распоряжаться по-своему.

И направляясь, после девятичасовой работы, в «отель Варстрема», мы ощущали все, что от одной формы рабства переходим к другой, и не было у нас беззаботной веселости обыч-

ного труженика, отработавшего урочные часы и идущего отдыхать «домой», в круг семьи, где он сам себе господин и где уже нет над ним «директора».

Из главы седьмой

С Анни я встречался каждый день, так как она служила в том же Международном банке, в бухгалтерском отделении. С первых же дней службы я заметил ее нежное лицо с большими ресницами и бледным, скорбно изогнутым ртом. В толпе женщин, выходящих вместе с нами после шести часов из стеклянных дверей банка, она отличалась особой стройностью движений и какой-то не то скромной, не то гордой отчужденностью от всех... Или, может быть, так это мне казалось, так как юношам моих лет всегда свойственно видеть нечто особое в женщинах, занимающих их воображение.

Нам было не трудно познакомиться, так как этому представлялось слишком много случаев: на пути в отель, за обедом, в читальне, на вечерах «отеля». Мы оба были молоды, неопытны, одиноки, и оба с одинаковой за-

стенчивостью проходили обычные ступени влюбленности, ведущие к близости. Замедленные рукопожатья, робкие намеки, волнующие самую глубину души, бессознательное влечение быть вдвоем, наконец, условленные, но вполне целомудренные свидания — все это вновь открылось нам, как что-то новое и неожиданное, как открывалось и будет открываться тысячам и тысячам других юных сердец. Древнюю сказку любви мы еще раз в мире разыграли в лицах, и роковая сила заставляла нас произносить те самые признания, совершать те самые поступки, волноваться теми же радостями и печальями, как это вписано в золотой книге Любви, на разных языках, но без перемены единого слова, читаемой во всех странах, во всех веках, в Египте фараонов, как в эпоху Возрождения, юношами Эллады, как полудикими девушками еще не поделенной Африки, везде и всегда. И по странному затмению, которое тоже неизменно овладевает умами всех в эту пору, мы, играя свои роли, уже не помнили об том, чем должна окончиться эта поистине «божественная» комедия, не помнили ее предустав-

ленной развязки, хотя столько раз читали ее в книгах любимых поэтов.

Наша любовь развивалась медленно, и вместе с тем медленно весь мир менялся для меня. По мере того, как я начинал сознавать, как близка мне Анни, по мере того, как узнавал, что и я близок и дорог ей, все ненавистное в жизни становилось постепенно милее и желаннее, чтобы стать в конце концов прекрасным. Как для тех влюбленных, которым судьба судила сжать губы в первом поцелуе в росистом поле или в старом парке, кажутся особенно яркими звезды и особенно прозрачной луна, — нам, осужденным на теснины улицы и склепы комнат, представлялись пленительными то дальние городские перспективы в озарении электрического света, то ночная тишь, таинственно сменяющая дневной гул, то причудливость той же сельской луны, вдруг встающей мутно-красным диском над плоскостями крыш, в прорезе между двумя слепыми стенами двух домов-гигантов. Мы находили неожиданную прелесть в лицах встречающихся с нами людей, радовались на их приветные слова, в которых слышалось

нам сердечное доброжелательство нашему восходящему счастью, восхищались самыми обычными предметами повседневной обстановки, были готовы любоваться забытым на столе стаканом, преломлявшим в своих гранях луч уличного фонаря, или рыночным узором скатерти, внезапно становившимся многозначительным символом нашей судьбы, нашего сближения.

Дни проходили, но для нас были только свидания. Мы жили памятью вчерашней встречи и ожиданием встречи сегодняшней. Мы жили, когда были вместе, и сладко обмирали в те часы, когда были разлучены. Но свидания возобновлялись каждый день, и все дни, вся жизнь скоро стала одной непрерывной радостью.

Обычно я встречался с Анни после нашего обеда. Она была столь же одинока в жизни, как я, никому не должна была давать отчет, и я приходил к ней, в ее маленькую комнатку, на женской половине «отеля». Иногда мы читали вместе, так как обоим нам нравились одни и те же поэты, оба интересовались одними и теми же книгами. Иногда целый вечер

вели тихим голосом те разговоры, которые кажутся влюбленным бесконечно значительными, но оказались бы, вероятно, странным повторением одного и того же, будь они записаны фонографически. Но чаще всего, пользуясь теплой, солнечной осенью, мы уходили бродить по городу или уезжали в ближайшие окрестности. Мы были бедны, театры и концерты были нам недоступны, но Столица была достаточно щедра, чтобы по крайней мере «зрелища» обеспечить всем своим детям и рабам.

Чаще всего мы уходили в Зоологический сад, так как в него не надо было ехать по железной дороге. Теперь, когда, после страшной катастрофы недавних лет, Столицы более нет, когда, по слову апостола, на месте прежних дворцов свищут змеи, селятся волки и стадаются лани[7], — я думаю, не я один, а многие с грустью вспоминают это удивительное учреждение. Как известно, столичный Зоологический сад занимал площадь в несколько тысяч кв. метров. Его хотелось скорее назвать не парком, но особой страной, населенной зверями всего земного шара. И каждый из них мог

жить в тех же условиях, как у себя на родине: иные, может быть, даже не замечали своего рабства.

Мы с Анни особенно любили наблюдать за пантерами, помещенными в гигантской клетке, построенной прихотливыми изгибами, так что посетители могли входить как бы в самую ее глубину. Эта клетка вмещала в себя и скалы с пещерами, где звери спали ночью, и целые заросли диких кустарников, где они укрывались летом от зноя, и широкие луговины, где они могли вволю бегать, прыгать и кататься, играя друг с другом. Мы находили бесконечное очарование в вольной гибкости их движений, в напряженности мускулов, готовящихся к скачку, в хищном оскале пасти зверя, ожидающего привычного корма. Там была одна черная пантера, которую я готов был назвать воплощением животной красоты. Скелет ее был совершеннейшей из машин, изобретенных умом человеческим или нечеловеческим, в нем все было рассчитано на то, чтобы с наименьшей затратой сил достигать результата наибольшего, и это придавало ей стройность необыкновенную. Черная шкура

ее отливала попеременно всеми красками, как самая прихотливая шерстяная материя, но никакая фабрика в мире не могла бы достичь той же глубины цвета, и когда животное двигалось, казалось, что идет олицетворенная мечта. Это было такое совершенство форм, все в этой черной пантере так отвечало отвлеченной идее о «звере», каждая черта ее была так необходима, что можно было часами любоваться на ее свободные прогулки по полянам клетки, на ее ленивый сон на краю утеса или на ее стремительные прыжки, словно подчиненные мощной пружине.

От пантер мы проходили к белым медведям, у которых был и свой ледяной грот, где во все времена года было холодно, как зимой, и свое искусственное ледяное поле, и громадный водоем, где они могли плавать и ловить рыбу. По особой лестнице, винтом уходившей в толщу скалы, можно было спуститься к самой глубине их берлоги и наблюдать, незаметно для них, их тайную семейную жизнь в те минуты, когда они почитали себя укрывшимися от людских докучных взглядов. Тут подглядывали мы сцены дикой нежности

двух громадных белошерстных туш, похожих более на грубые, неумелые изваяния, чем на живых существ, подглядывали их громоздкие ласки, подслушивали их любовные стоны, напоминавшие рев паровоза, видели исступление их страсти, заставлявшее думать о сладострастных забавах допотопных плиоэавров.

Мы наблюдали потом вольный разбег верблюдов; мудрое раздумье слонов; отвратительное человекоподобие обезьян; пресыщенность силою львов; угрюмое безразличие носорога и чудовищное безобразие левиафана-бегемота; наблюдали гнусно-наглых гиен, бесшерстных, дрожащих ланей, козлов с привешенной головой дьявола, широкозадых зебр, хитрых, завернутых в шубу росомах, рысей, которых немецкая сказка метко почитала переодетыми лесными царями, тигров с бородой, на которой должна бы запекаться кровь, тупых буйволов и лукавых барсуков — наблюдали весь этот мир земных тварей, из которых каждая выражала ту или иную сущность человеческой души, которые все кажутся примерами, начертанными Великим Учителем на поучение человеку в старой «книге

природы». А после ждали нас еще громадные клетки птиц, слепивших стоцветными оперениями, то легких, как летающие пушинки, то тяжелых, как окрыленные глыбы гранита, поющих нежно, кричащих страшно, свистящих злобно и насмешливо, длинноносых, широколапых, извивающихся, как переменчивая выпь, или угрюмо-гордых, как серые грифы, или давно ставших неживыми символами, как белые чайки. И, еще после, можно было сойти в подземелье, где за громадными стеклами открывалось население рек и моря, где плавали, свивались, скользили, ныряли, парили недвижно, мелькали стада и единицы столь же разноцветных рыб, с переливчатой чешуей, с глазами всегда изумленными, с всегда испуганно дышащими жабрами. Там можно было содрогаться, глядя на червеобразных мурен, упиваться несообразностью рыб-телескопов, отворачиваться от мерзостных скатов и часами высматривать метаморфозы наводящего ужас, омерзение, но тайно соблазняющего осминога, который то лежал, как бесформенный кусок слизи, то вытягивался, как фантастическое вещество не нашего мира, то

вдруг превращался в ловкого и хищного зверя, стремительно и самоуверенно бросающегося на добычу.

В зрелище этих живых существ, которые и в неволе сохранили какую-то долю дикой свободы, в их отважной повадке, в их надменных движениях, чуждых унижения, в красоте их форм, в самом блеске их твердых зрачков было для нас двоих, проводящих день в покорном рабстве, нечто неодолимо пленительное, нечто наполнявшее нас невыразимой и утешительной тоской. Видя, как барс грызет прутья клетки, или как орел еще раз, с клеточком, пытается взлететь выше своего гигантского куполообразного храма, или как лиса вольно шныряет по тропинкам отведенного ей сада, — мы обретали в наших душах почти онемевшую жажду воли и буйного произвола: инстинкты далеких тысячелетий пробуждались в нас. И подсматривая любовные схватки предоставленных своим страстям зверей, мы переставали стыдиться своего темного чувства, влекшего нас друг к другу, — и мне не стыдно признаться, что именно после того, как на наших глазах рыжая львица,

глухо стена, предавалась торжествующему, машущему гривой льву, мы впервые решились сблизить губы в поцелуе...

Из главы восьмой

Проходили и дни и недели. Давно миновал полуторамесячный срок, который я себе назначил. Ничего не изменилось в моем положении, и, несмотря на предупреждение дяди, я не мог не думать, что он обо мне позабыл. День за днем являлся я в ненавистное здание Международного банка, чтобы продолжать свое ненавистное и унижительное дело.

Гордость говорила мне, что мне давно пора освободиться от позорного положения. Я сознавал, что выполняемая мною работа убивает во мне все умственные силы, подавляет мои способности, разрушает мое нравственное существо. Окруженный людьми ничтожными, исполняя труд механический, каждый день подвергаясь постыдному обряду обнажения, я спускался на какую-то низшую ступень существования. Иногда с ужасом я спрашивал себя, не потерял ли я свою душу уже невоз-

вратимо, незаметно для самого себя? Тот самый факт, что я продолжал свою службу, не был ли он признаком моего последнего падения, утраты внутренней силы?

Но расстаться с домом Варстрема значило отойти, отдалиться от Анни, и эта мысль приковывала меня к моему месту самыми крепкими цепями. Работая в банке, живя с ней в одном доме, я мог встречаться с ней каждый день. А разве это не было блаженством, ради которого можно было согласиться на все, даже на унижения?

В отеле Варстрема женская половина была отделена от мужской. После одиннадцати часов вечера переход из одной в другую не допускается. Хотя все мы были люди взрослые и самостоятельные, приходилось подчиняться этим правилам лицемерного благоприличия, как всем другим измышлениям нашей, во все желавшей вмешиваться, дирекции.

Конечно, мы находили способ обойти постановления отеля. Те из обитателей «мужской» половины, кто хотел остаться с любимой женщиной дольше установленного срока, просто не возвращался к себе в ту ночь: он

оставался в запертой части отеля до утра.

Так как нам с Анни всегда мало было назначенных по правилам часов, то очень скоро я привык проводить с ней время до зари. Наши свидания растянулись на всю ночь.

Большую частью, вернувшись после прогулки, мы спрашивали себе кофе и располагались у окна, которое в комнате Анни выходило на широкое авеню, так что внизу, под нами, в глубоком десятиэтажном колодце всегда волновалась жизнь столицы. Анни садилась в кресло, а я у ее ног на пол, Я брал в руки ее тонкие пальцы, видел над собой ее тихие глаза, и мы говорили бесконечно, о нашем прошлом, о прочитанном в книгах, о вечных вопросах жизни и любви. Очень редко говорили мы о нашем настоящем и никогда о будущем.

Анни была из строго-религиозной семьи, хотя не принадлежала ни к какой из существующих церквей. Ее отец был проповедник, основатель маленькой христианской секты, впрочем распавшейся по его смерти. Мать, тоже умершая уже несколько лет назад, не покидала правоверного католичества, но как-то

умела ценить и чтить идеи мужа. От них у Анни осталась вера в промысл божий, желание и способность молиться и наивная боязнь греха. Как маленькая девочка, она готова была на коленах замаливать свое преступление, когда впервые мы обменялись поцелуем...

Анни не была образованна, но у нее был острый ум, открывавший ей во всех вещах и событиях самое существенное. Ее характеристики были чудом меткости и обобщения. Она часто говорила афоризмами, сама того не замечая, не добиваясь этого. Кроме того, у нее была чудесная память, сохранявшая все, что ей случалось читать, слышать, видеть. Она все понимала с намека, и говорить с ней было наслаждение. И я думаю, что эти мои слова — объективная правда, а не преувеличения влюбленного.

Само собой понятно, что наши ночные беседы очень быстро привели нас к той черте, за которой дружеские встречи обращаются в любовные свидания. Ночная полумгла, тишина спящего дома, долгая близость двух, воздух, насыщенный запахом тела, — все это про-

тив нашей воля толкало нас в объятия друг к другу. Сам того не желая, я касался ее колен, и меня влекло ощутить прикосновение ее кожи. И я замечал, что она бессознательно, безвольно, теснее прижималась ко мне, давала мне прильнуть к ней ближе.

Когда после долгого разговора о Данте, о бессмертных радостях Паоло и Франчески в аду[8] я, подчиняясь неодолимому порыву, обнял крепко и, сжимая ее стан, сказал ей:

— Вот так разве страшно было бы в аду?

Она мне ответила задыхаясь:

— Да, страшно, уже только потому, что в душе жило бы томление о недоступном рае...

Потом, освободившись из моих рук, она добавила:

— Люди, которые весь смысл жизни видят в любви, мне кажутся похожими на скульптора, который заботится только о выборе хорошего мрамора. Любовь сама по себе, должно быть, прекрасное чувство, но оно становится истинно прекрасным только тогда, когда входит в душу, подготовленную к ней. Из любви, как из куска мрамора, можно сделать все: бога и демона, совершенную статую и безобраз-

ный обрубок.

Меня огорчило, что Анни могла рассуждать о любви так хладнокровно.

— Ты говоришь «должно быть», — сказал я, — значит, ты меня не любишь!

(Мы уже давно обменялись клятвами любви.) Анни опустила голову и прошептала тихо:

— Иногда...

Разумеется, то, что должно было совершиться с неизбежностью, совершилось. Мы отдались друг другу, потому что были молоды, одиноки, несчастны, потому что обоим нам хотелось ласки и нежности, хотелось чувствовать себя близким кому-то...

Случилось это как-то невольно, незаметно, как могли бы упасть в пропасть дети, игравшие неосторожно на ее краю.

Как ни влекло нас оставаться вдвоем, но мы не могли преодолеть усталость после трудового дня. Первое время мы проводили часто всю ночь без сна, прижавшись один к другому, перед ночным окном, следя переходы ночи в зеленоватый рассвет и янтарную зарю. Утром, истомленные долгим бодрство-

ванием, бледные, бессильные, с истомой в костях, мы в последний раз сжимали друг друга в скромных объятиях, сдавливали губы в прощальном поцелуе и шли на новую работу... Потом мы все чаще и чаще стали засыпать около этого окна, засыпать на полуслове, на ласковом восклицании, и, вдруг просыпаясь утром, виновато и изумленно, мы говорили друг другу не то «здравствуй», не то «прощай». Еще позже, видя, как истомлена Анни, я уговаривал ее лечь в постель, а сам садился у ее ног и дремал, прислонившись спиной к стене... Это была опасная игра детей на краю пропасти...

Было все, что бывает в таких случаях, и страдальное «не надо!» женщины, которая ищет последних сил, чтобы отказаться от того, к чему властно влечется все ее существо, и унижительное насилие мужчины, который стыдится показаться слишком робким и уступчивым, и все безобразие неловких, неумелых движений, о которых после нельзя вспоминать без мучительного чувства стыда. Была беспощадность страсти и безудержность отчаянья, были горестные слезы, жа-

лостная дрожь, томительное «оставь меня», и были бесполезные, условные утешения, слова, которые говорятся всеми и не нужны никому. Так, однажды утром, мы расстались, как любовники. Наши товарищи, которые не могли не знать о наших ночных свиданиях, были убеждены, что все это случилось гораздо раньше, и мы были избавлены по крайней мере от нескромных взглядов других...

С того дня моя жизнь изменилась. В нее вошло благостное присутствие страсти. Все события и все чувства озарились изнутри пламенным огнем чувственности. Новое опьянение задернуло передо мной действительность прозрачно-пламенным туманом, сквозь который все казалось прекраснее и торжественнее. Жизнь перестала быть пресной, но получила вкус смертельного и сладостного яда.

Теперь Анни, прощаясь со мной по утрам, говорила мне своим тихим, осторожным голосом:

— Прощай, Артюр! Помни весь день, что у меня более нет ничего, нет кроме тебя. Как евангельская вдовица, я отдала тебе свои две

лепты:[9] это немного, но большего у меня не было.

И сознание, что во всем мире у Анни один защитник — я, наполняло меня гордостью и уверенностью в своих силах.

Из главы двенадцатой

МЫ только что принялись вновь, после обещанного отдыха, за работу, как наш «старший», переговорив по телефону, объявил нам, что сейчас посетит нас г-жа Варстрем, супруга главного директора, осматривающая все учреждения банка.

Без исключения все мы смутились. Раздались с разных сторон вопросы, должно ли нам одеться.

— Нет. Г-жа Варстрем желает видеть самый ход работ, как он совершается обыкновенно.

Женщина — в нашем мужском монастыре! Это было так необычно, что мы чувствовали себя потрясенными. Думаю, что многим, как и мне, хотелось убежать куда-то. Это посещение казалось пределом оскорбления: нас словно не считали людьми. Так древние рим-

лянки не стыдились смотреть на обнаженных рабов, так мы не стыдимся смотреть на не одетых животных...

Может быть, наш глухой протест принял бы более определенные формы, но у нас не было времени. Тотчас за заявлением «старшего» послышался скрип подъемной машины. Еще через минуту отворилась дверь, которая открывалась только для работающих в счетном отделении, и в нее вошла женщина.

Г-жа Варстрем была моложе мужа лет на десять. Но заботы о теле и искусство массажистов и институтов красоты придавали ей вид двадцатипятилетней девушки. Цвет ее лица был безукоризненный; шея — как бы из белого, чуть-чуть розоватого атласа; ее тело, стройно обтянутое модной юбкой, напомнило мне грацией движений мою любимую черную пантеру.

Она вошла одна, потому что вход в счетное отделение посторонним был строго воспрещен. Среди мраморных столов, заваленных грудями желтого золота, среди обнаженных тел работающих мужчин, в палевом свете дня, слабо проникавшем сквозь плотные за-

навески, она была в своем простом, но пышном платье, в своей причудливой прическе выходцем иного мира. Словно живой человек, новый Дант во образе женщины, сошел в один из кругов ада.

Проходя между столами, г-жа Варстрем обращалась к нам с расспросами, которые сама, конечно, считала милостивыми. Одного она спрашивала, утомляется ли он, другого, не слишком ли жарко в комнате, третьего, есть ли у него родные и т. д. Сознаюсь, что большинство отвечало ей совсем неприветливо. Чувствовалось подавленное раздражение в душах всех. Казалось, что нарастает мятеж, готовый каждую минуту разразиться, как удар грозы.

Г-жа Варстрем делала вид, что не замечает этого настроения залы. Она осматривала обнаженные тела с любопытством, которое доходило до непристойности. Я не сомневался, что ее привело к нам темное желание подразнить свое утомленное сладострастие. То, что я слышал о нравах этой женщины, которую называли Мессалиной[10], утверждало меня в моем предположении. Мне казалось, что я

подмечал, как ее ноздри раздувались и как румянец волнения проступал сквозь искусственную краску ее щек.

Приблизившись ко мне, г-жа Варстрем спросила мое имя. Я ответил.

— Так вы — мой племянник, — сказала она, — очень рада узнать вас.

Она протянула мне руку. Но я сделал вид, что не замечаю этого движения, и сказал резко:

— Не знаю, мистрисс. Ваш муж действительно состоял в каком-то родстве с моей матерью. Но я полагаю, что в моем положении я не имею права считаться с этим родством.

Мои товарищи изумленно посмотрели на меня, так как я никогда не говорил им о своем родстве с директором. А г-жа Варстрем, тоже сделав вид, что не заметила моей грубости, продолжала:

— Напротив, мы должны это родство восстановить и познакомиться ближе. Пожалуйста, приходите ко мне завтра вечером, в 8 часов. Я с удовольствием узнаю вас лучше. Помнится, муж мне даже говорил о вас и очень хвалил вас.

Я холодно поклонился, тут же дав себе слово, что не воспользуюсь приглашением.

Г-жа Варстрем, не рискнув вторично протянуть мне руку, пошла дальше. Но после одного ответа, особенно резкого, она поняла, что оставаться ей дольше среди нас не безопасно. Любезно поклонившись нам, она попросила «старшего» освободить нас сегодня на час раньше.

— Ваше приказание, миледи, закон! — отвечал тот. Шурша шелковыми юбками, г-жа Варстрем удалилась.

Дверь закрылась за ней, и мы вновь остались одни, угрюмые, подавленные, не смея выразить свое мнение в присутствии «старшего». Работа продолжалась, но как-то вяло, тяжело...

Когда мы одевались в нашей «раздеваль-ной», товарищи обратились ко мне с язвительными намеками:

— Однако у вас видные родственники, г. Грайсвольд! Что же вы скрывали от нас до сих пор, что метите в начальники к нам?

— Господа, — возразил я, — вы знаете, как я работаю изо дня в день. Вы видите, что из

этого пресловутого родства я не извлекаю никаких выгод. И не думаю, чтобы когда-нибудь мне пришлось им воспользоваться. Во всяком случае вы не можете упрекнуть меня, чтобы в чем-либо я поступил не по-товарищески. Что же касается приглашения директриссы, то я не собираюсь идти к ней на поклон, — и этого, кажется, довольно.

Я видел, однако, что вовсе не все были удовлетворены моими объяснениями. Какое-то отчуждение уже возникло между мною и товарищами по работе.

Обдумав, как мне лучше поступить с приглашением г-жи Варстрем, я решил, что самое лучшее — написать ей извинительное письмо и послать его просто по почте: дойдет оно до нее или нет, это уж не мое дело. Так я и поступил, составив письмо в самых почтительных выражениях.

Однако за полчаса до срока, назначенного г-жой Варстрем, когда я собирался идти к Анни, я был вызван по телефону в контору отца. Оказалось, что за мной прислана карета от «супруги главного директора», как подобострастно сообщил мне заведующий конторой.

— Я уже извинился перед г-жой Варстрем, — сказал я. — Я сегодня не могу поехать к ней.

Заведующий посмотрел на меня, как на человека, лишившегося ума.

— Вас желает видеть г-жа Варстрем, — повторил он отдельно.

— К сожалению, у меня нет сегодня свободного времени.

Заведующий сначала растерялся, потом стал мне грозить, потом уговаривать меня. Он говорил с таким убеждением, словно дело касалось лично его.

— Вы будете всю жизнь жалеть о своем решении, — говорил он мне.

Потому ли, что я был молод и неопытен, потому ли, что и тайне души я был согласен с доводами заведующего, но незаметно я дал себя уговорить. Я опомнился только тогда, когда уже сидел в карете. Меня охватило негодование на самого себя, на свою слабость. Я готов был выпрыгнуть на мостовую. Но карета продолжала катиться, и я побоялся показаться смешным.

Мы остановились около частного отеля

Варстрема, на уединенной улице предместья. Это был небольшой, сравнительно, домик в античном вкусе. Лакей отворил дверцы. Проклиная себя, стыдясь своего скромного костюма, я вошел в вестибюль.

— Миледи приказала проводить вас...

Лакей провел меня через ряд неосвещенных зал, украшенных стеной живописью; потом следовали две или три гостиные с мягкой мебелью; здесь лакей поручил меня горничной.

— Идите прямо, — сказала она мне, — и поверните направо, где драпри.

Я повиновался. Отодвинув драпри, я оказался в небольшой комнате, едва освещенной розоватым светом. Комната была заставлена прихотливыми диванами, креслами, пуфами, маленькими столиками, этажерками с безделушками. На стенах смутно вырисовывались картины с нескромным содержанием. В одном углу белела мраморная группа сатира, бесстыдно целующего изнемогающую нимфу.

И посредине комнаты, на широком, покрытом тигровой шкурой, диване, выступая на желто-черном фоне белым телом, на кото-

рое свет бросал розовые блики, лежала неподвижно, с надменной улыбкой на губах, — совершенно обнаженная г-жа Варстрем.

Я остановился на пороге, думая в первую минуту, что ошибся дверью. Голое женское тело было единственным, что я видел в этом пышном салоне. Голое женское тело плыло в моих глазах, как в каком-то хаосе вещей.

Г-жа Варстрем тихо рассмеялась и сказала мне полунасмешливо:

— Подойдите же, племянник. Или вы совсем не хотите со мной познакомиться ближе?

Я с трудом сделал два шага. Г-жа Варстрем продолжала:

— Я получила ваше письмо. Как нехорошо отказываться от такого любезного приглашения, как мое. Мне искренно хочется узнать вас и быть вам полезной. Не бойтесь меня: я не такая страшная, как обо мне говорят.

Я приблизился еще на несколько шагов.

Г-жа Варстрем встала, выпрямляя свои античные члены, нежно сверкая своим телом в искусственном полусвете. Она была похожа на ожившую раскрашенную статую.

— Что же вы молчите? — спросила она. — Вы всегда такой нелюдимый?

Я что-то пробормотал. Она весело рассмеялась.

— Я научу вас быть развязнее. Вы просто не привыкли к обществу. Но знаете, милый мальчик, вчера вы были красивее. Вам не идет эта темная куртка. Снимите ее. Без одежды вы — словно маленький Дионис, а в одежде вы — как все. Долой ее.

Я невольно сделал движение, чтобы защититься. Но она уже расстегивала пуговицы моей рабочей куртки, в которой я приехал к ней, так как у меня не было времени переодеться.

— Не возражайте, — говорила мне она, — ведь не стесняюсь же я быть перед вами раздетой. Чего же стесняться вам!

Она сама раздевала меня, и у меня не было сил сопротивляться. Я был поражен неожиданностью и быстротой всего происшедшего. Я был в ее руках, словно безвольная кукла, которой она забавлялась.

Через несколько минут я стоял перед ней, в залитой розовым светом гостиной, на мяг-

ком пушистом ковре из шкуры лабрадорского быка, столь же обнаженный, как она сама... Мраморный фавн насмешливо смотрел на нас, крепкой рукой обнимая чресла обессиленной нимфы, которая падала от страха и стыда...

Комментарии

Впервые напечатано: Северные цветы. Альманах пятый книгоиздательства «Скорпион». М., 1911, с. 169–220, под общим заглавием: «Семь земных соблазнов. Отрывки из романа». Печатается по тексту этого издания.

Публикации отрывков в «Северных цветах» было предпослано редакционное предисловие, написанное, безусловно, самим Брюсовым:

От редакции

Роман из будущей жизни, «Семь земных соблазнов», над которым В. Я. Брюсов работает уже давно и сведения о котором не раз появлялись в печати, в полном своем виде может быть издан лишь через несколько лет. Разделенный на семь частей, по числу традиционных «семи грехов», — Богатство, Сладострастие, Опьянение, Жестокость, Праздность, Слава, Месть, — он должен обнять все стороны человеческой жизни и пересмотреть все основные страсти человеческой души. Каждая часть представля-

ет собою более или менее самостоятельное целое, которые все связаны между собою только образом главного действующего лица. Редакция Альманаха полагает, что читателям небезынтересно будет познакомиться с этим произведением по тем отрывкам из первой части романа, которые предложены в ее распоряжение автором. Она считает, однако, своим долгом предупредить, что печатаемые ею страницы составляют первоначальные наброски, которые еще подлежат обработке, как стилистической, так и по отношению ко всей композиции романа.

«Скорпион».

Из этого обширного замысла оказались реализованными лишь фрагменты из 1-й части «Богатство». Десять лет спустя после публикации в «Северных цветах» Брюсов включил «Богатстве» в состав предполагавшегося в издательстве З. И. Гржебина собрания своих сочинений, но это издание не было осуществлено. (Литвин Э. С. Незаконченный утопический роман В. Я. Брюсова «Семь земных соблазнов». — В кн.: Брюсовские чтения 1973 го-

да. Ереван, 1976, с. 119–120).

Замысел «романа № 2» возник у Брюсова в 1908 г., сразу после завершения «Огненного Ангела»; название будущего произведения варьировалось многократно: «Семь смертных грехов», «Семь земных искушений», «Знаки семи планет», «Семь цветов радуги». В архиве Брюсова сохранились схематические наброски содержания отдельных частей романа. Указана и его развязка: «Кончается все грандиозным восстанием. Революция» (Ильинский А. Литературное наследство Валерия Брюсова. — В кн.: Литературное наследство, т. 27–28. М., 1937, с. 469).

Непосредственно к реализации задуманного произведения Брюсов приступил в Париже осенью 1909 г., причем французская столица дала писателю необходимый материал для картин будущей жизни. «...Неприменно хочу написать здесь значительную часть моего романа, — сообщал Брюсов жене из Парижа 24 сентября 1909 г. — Для многих его сцен я нахожу здесь как бы модели, чего мне будет весьма недоставать в Москве. Жизнь большого города, жизнь толпы и многое другое здесь я

могу списывать „с натуры“» (Валерий Брюсов в автобиографических записях, письмах, воспоминаниях современников и отзывах критики. Составил Н. Ашукин. М., 1929, с. 259). Париж дал Брюсову также богатый материал и для изображения «соблазнов» большого капиталистического города, и для осмысления социального антагонизма в воображаемом обществе будущего. Это сходство с современностью было отмечено критикой: «Можно подумать, что читаешь описание Парижа или Нью-Йорка, только обилие дирижаблей и аэропланов заставляет вспомнить, что действие происходит не в наши дни» (Козловский Л. О «Семи земных соблазнах», четырех поэтах и об одной мышке. — Русские ведомости, 1911, № 204, 4 сентября).

Роман «Семь смертных грехов» был анонсирован в каталоге издательства «Скорпион» на 1909 год, предполагался к опубликованию в последних номерах журнала «Весы» (см. об этом в указанной статье Э. С. Литвин, с. 126), однако Брюсов сумел подготовить только те фрагменты, которые появились в «Северных цветах».

Примечания

...быстроходные стимеры... — род пассажирского судна, пароход (от англ. steamer).

[^^^]

2

...щелканье бичей, выкрики газетчиков и продавцов... — реминисценции изображения большого города в стихотворении Брюсова «Конь блед» (1903):

*В гордый гимн сливались с рокотом
колее и скоком
Выкрики газетчиков и щелканье
бичей.*

[^^^]

3

«Будьте мудры, как змии»... — Евангелие от Матфея, X, 16.

[^^^]

4

...эталажи... — Etalage (фр.) — выставка, витрина.

[^^^]

5

...пусть гибнут библиотеки и музеи... горят кострами книги ученых и поэтов... — Ср. стихотворение Брюсова «Грядущие гунны» (1905):

*Сложите книги кострами,
Пляшите в их радостном свете,
Творите мерзость во храме —
Вы во всем неповинны, как дети!*

[^^^]

6

В тексте Брюсова, видимо, незамеченная описка: «отель» (прим. сост.)

[^^^]

...по слову апостола, на месте прежних дворцов свищут змеи, селятся волки и стадаются лани... — В Новом завете такого пророчества не обнаружено. Сходной теме посвящено стихотворение Брюсова «В дни запустения» (1899), ср.:

*На площадях плодятся будут
змеи,
В дворцовых залах поселятся
львы.*

[^^^]

...о бессмертных радостях Паоло и Франчески в аду... — Имеется в виду эпизод «Божественной Комедии» Данте — встреча в Аду с неразлучными тенями любовников, Франческой да Римини и Паоло Малатеста («Ад», песнь 5, ст. 73 — 142).

[^^^]

Как евангельская вдовица, я отдала тебе свои две лепты... — Имеется в виду эпизод несения даров в сокровищницу, куда бедная вдова положила две лепты; Иисус сказал: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила; ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей, положила все пропитание свое, какое имела» (Евангелие от Луки, XXI, 3–4).

[^^^]

Мессалина (25–48) — жена императора Клавдия; имя ее стало синонимом разнузданного разврата.

[^^^]